In VN’s novel *Podvig* (“Glory,” 1932) Martin heroically keeps his promise not to make “marmalade” eyes (as Sonia put it):

Тогда он ей написал письмо, и несколько дней отсутствовал; она ему ответила дней через десять цветной фотографической открыткой; - смазливый молодой мужчина наклоняется сзади над зелёной скамейкой, на которой сидит смазливая молодая женщина, любуясь букетом роз, а внизу золотыми буквами немецкий стишок: "Пускай умалчивает сердце о том, что розы говорят". "Какие миленькие, - написала на обороте Соня, - знай наших! А ты - вот что: приходи, у меня три струны лопнули на ракете". И ни слова о письме. Но зато при одной из ближайших встреч она сказала: "Послушай, это глупо, можешь, наконец, пропустить один день, тебя заменит Киндерман". "У него свои уроки", - нерешительно ответил Мартын, - но все же с Киндерманом поговорил, и вот, в удивительный день, совершенно безоблачный, Мартын и Соня поехали в озерные, камышовые, сосновые окрестности города, и Мартын героически держал данное ей слово, не делал мармеладных глаз - её выражение - и не пытался к ней прикоснуться. С этого дня началась между ними по случайному поводу серия особенных разговоров. Мартын, решив поразить Сонино воображение, очень туманно намекнул на то, что вступил в тайный союз, налаживающий кое-какие операции разведочного свойства. Правда, союзы такие существовали, правда, общий знакомый, поручик Мелких, по слухам пробирался дважды кое-куда, правда и то, что Мартын всё искал случая поближе с ним сойтись (раз даже угощал его ужином) и все жалел, что не встретился в Швейцарии с Грузиновым, о котором упомянул Зиланов, и который, по наведенным справкам, оказался человеком больших авантюр, террористом, заговорщиком, руководителем недавних крестьянских восстаний. "Я не знала, что ты о таких вещах думаешь. Но только, знаешь, если ты правда вступил в организацию, очень глупо об этом сразу болтать". "Ах, я пошутил", - сказал Мартын и загадочно прищурился для того, чтобы Соня подумала, что он нарочно обратил это в шутку. Но она этой тонкости не заметила; валяясь на сухой, хвойными иглами устланной земле, под соснами, стволы которых были испещрены солнцем, она закинула голые руки за голову, показывая прелестные впадины подмышек, недавно выбритые и теперь словно заштрихованные карандашом, - и сказала, что это странно, - она тоже об этом часто думает: вот есть на свете страна, куда вход простым смертным воспрещен: "Как мы её назовем?" - спросил Мартын, вдруг вспомнив игры с Лидой на крымском лукоморье. "Что-нибудь такое - северное, - ответила Соня. - Смотри, белка". Белка, играя в прятки, толчками поднялась по стволу и куда-то исчезла. "Например - Зоорландия, - сказал Мартын. - О ней упоминают норманны". "Ну, конечно - Зоорландия", - подхватила Соня, и он широко улыбнулся, несколько потрясённый неожиданно открывшейся в ней способностью мечтать.

He wrote her a letter, and stayed away for several days. She replied a week or so later with a color postcard showing a pretty boy bending over the back of a green bench onwhich sat a pretty girl, admiring a bouquet of roses, with a German rhyme in gilt letters at the bottom: “Let a true heart leave unsaid what is told by roses red.” On the reverse Sonia had scribbled: “Aren’t they sweet? That’s real courtship for you. Look, I need your assistance, three strings have snapped on my racket.” And not a word about the letter! However, during one of his next visits she said, “I think it’s ridiculous that you can’t skip a day or two now and then. Surely, Kindermann will replace you.”

“He has his own lessons,” replied Martin hesitantly, but he did speak to Kindermann, and so, one marvelous, impeccably cloudless morning, Martin and Sonia were off for the lacustrine, reedy, piny outskirts of the city, and Martin heroically kept his promise not to make “marmalade” eyes, as she put it, and did not attempt to kiss her. Something they discussed that day happened to lead to a series of quite special exchanges between them. With the intent of striking Sonia’s imagination, Martin vaguely alluded to his having joined a secret group of anti-Bolshevist conspirators that organized reconnaissance operations. It was perfectly true that such a group did exist; in fact, a common friend of theirs, one Lieutenant Melkikh, had twice crossed the border on dangerous missions; it was also true that Martin kept looking for an opportunity to make friends with him (once he had even invited him to dinner) and always regretted that while in Switzerland he had not met the mysterious Gruzinov, whom Zilanov had mentioned, and who, according to information Martin had gathered, emerged as a man of great adventures, a terrorist, a very special spy, and the mastermind of recent peasant revolts against the Soviet rule.

“It never occurred to me,” said Sonia, “that you thought about things like that. Only, you know, if you really have joined that organization, it’s very naive to start blabbing about it right away.”

“Oh, I was only joking,” said Martin, and slit his eyes enigmatically so as to make Sonia believe he had deliberately turned it into a joke. She, however, did not catch that nuance; stretched out on the dry, needle-strewn ground, beneath the pines whose trunks the sun blotched with color, she put her bare arms behind her head, exposing her lovely armpits which she had recently started to shave and which were now shaded as if with a pencil, and said it was a strange thing, but she too had often thought about it—about there being a land where ordinary mortals were not admitted.

“What shall we call that land?” asked Martin, suddenly recollecting his games with Lida on the Crimean fairy-tale shore.

“Some northern name,” answered Sonia. “Look at that squirrel.” The squirrel, playing hide-and-seek, jerkily climbed a tree trunk and vanished amidst the foliage.

“Zoorland, for example,” said Martin. “A Norman mariner mentions it.”

“Yes, of course—Zoorland,” Sonia concurred, and he grinned broadly, somewhat astounded by her unexpectedly revealed capacity for daydreaming. (chapter 34)

Sonia and *marmeladnye glaza* (“marmalade” eyes) seem to hint at Sonia Marmeladov, a character in Dostoevski’s *Prestuplenie i nakazanie* (“Crime and Punishment,” 1866). The novel’s main character, Raskolnikov wonders whether he is *tvar’ drozhaschaya* (a trembling creature) or whether he has the right [to kill, like Napoleon]. In Pushkin’s *Podrazhaniya koranu* (“Imitations of the Koran,” 1824) Allah tells Muhammad to preach his Koran to *drozhashchey tvari* (the trembling creatures):

Мужайся ж, презирай обман,
Стезёю правды бодро следуй,
Люби сирот, и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.

So go and follow truth and teach,

Despise the evil that dissembles,

Be bold and, loving orphans, preach

My Koran, while Creation trembles.

(transl. Ants Oras)

In his poem *Aya-Sofia* (“Hagia Sophia,” 1903-06) Bunin mentions the grand sheikh who reads the Koran in Hagia Sophia (a Greek Orthodox Christian patriarchal basilica in Constantinople turned by the Muslims into an Ottoman imperial mosque):

Светильники горели, непонятный

Звучал язык, - великий шейх читал

Святой Коран, - и купол необъятный

В угрюмом мраке пропадал.

Кривую саблю вскинув над толпою,

Шейх поднял лик, закрыл глаза - и страх

Царил в толпе, и мёртвою, слепою

Она лежала на коврах...

А утром храм был светел. Всё молчало

В смиренной и священной тишине,

И солнце ярко купол озаряло

В непостижимой вышине.

И голуби в нём, рея, ворковали,

И с вышины, из каждого окна,

Простор небес и воздух сладко звали

К тебе, Любовь, к тебе, Весна!

*Kupol* (the church dome) and *golubi* (the doves) in Bunin’s poem bring to mind Bubnov’s words to Martin:

"Да, это пошло, сладко, отвратительно, фу... презирай меня, пускай я бездарь, но я её люблю. Её имя, как купол, как свист голубиных крыл, я вижу свет в её имени, особый свет, "кана-инум" старых хадирских мудрецов, - свет оттуда, с востока, - о, это большая тайна, страшная тайна"; и уже истошным шёпотом: "Женская прелесть страшна, - ты понимаешь меня, - страшна. И туфельки у неё стоптаны, стоптаны..."

Then, with a fierce look, he added, “Yes, that’s trite, that’s nauseous, ugh! Despise me if you like, I may lack all talent, but I’m in love with her. Her name is like a church dome, like the swish of doves’ wings. I see radiant light in her name, that special light, the ‘kana-inum’ of the ancient Khadir sages. A light from there, from the East. Ah, that’s a great mystery, an awesome mystery——” Lowering his voice to a demented whisper, he added, “A woman’s charm is a terrible thing—you understand me, terrible. And her poor little slippers are worn down at the heel, yes, worn down——” (Chapter 33)

The name Bubnov comes from *bubnit’* (to grumble) or from *bubny* (diamonds, a suit in playing cards). In his poem *Dvenadtsat’* (“The Twelve,” 1918) Alexander Blok mentions *bubnovyi tuz* (a convict’s ace of diamonds) that would fit the backs of the twelve Red Army soldiers. In “Crime and Punishment” Katerina Ivanovna (Sonia Marmeladov’s step-mother) quotes the saying *slavny bubny za gorami* (“a castle in the air”):

И она, сама чуть не плача (что не мешало её непрерывной и неумолчной скороговорке), показывала ему на хнычущих детей. Раскольников попробовал было убедить её воротиться и даже сказал, думая подействовать на самолюбие, что ей неприлично ходить по улицам, как шарманщики ходят, потому что она готовит себя в директрисы благородного пансиона девиц...

- Пансиона, ха-ха-ха! Славны бубны за горами! - вскричала Катерина Ивановна, тотчас после смеху закатившись кашлем, - нет, Родион Романыч, прошла мечта! Все нас бросили!..

And she, almost crying herself--which did not stop her uninterrupted, rapid flow of talk--pointed to the crying children. Raskolnikov tried to persuade her to go home, and even said, hoping to work on her vanity, that it was unseemly for her to be wandering about the streets like an organ-grinder, as she was intending to become the principal of a boarding-school.

"A boarding-school, ha-ha-ha! A castle in the air," cried Katerina Ivanovna, her laugh ending in a cough. "No, Rodion Romanovitch, that dream is over! All have forsaken us!... (Part V, chapter 5)

“A light from there, from the East” mentioned in *Glory* by Bubnov seems to hint at Vladimir Solovyov’s poem *Ex oriente lux* (1890):

"С Востока свет, с Востока силы!"

И, к вседержательству готов,

Ирана царь под Фермопилы

Нагнал стада своих рабов.

Но не напрасно Прометея

Небесный дар Элладе дан.

Толпы рабов бегут, бледнея,

Пред горстью доблестных граждан.

И кто ж до Инда и до Ганга

Стезёю славною прошёл?

То македонская фаланга,

То Рима царственный орёл.

И силой разума и права -

Всечеловеческих начал -

Воздвиглась Запада держава,

И миру Рим единство дал.

Чего ж ещё недоставало?

Зачем весь мир опять в крови?

Душа вселенной тосковала

О духе веры и любви!

И слово вещее - не ложно,

И свет с Востока засиял,

И то, что было невозможно,

Он возвестил и обещал.

И, разливаяся широко,

Исполнен знамений и сил,

Тот свет, исшедший от Востока,

С Востоком Запад примирил.

О Русь! В предвиденье высоком

Ты мыслью гордой занята;

Каким же хочешь быть Востоком:

Востоком Ксеркса иль Христа?

Light comes from the East, strength comes from the East!"

And, ready to reign,

The king of Persia drove his herds of slaves

To Thermopylae.

But the heavenly gift of Prometheus

Wasn't given to Hellas in vain.

Paling, the crowds of slaves retreated

Before a handful of valiant men.

And who has traveled the glorious path

To the Indus and the Ganges?

The Macedonian phalanx,

The sovereign eagle of Rome.

And by the strength of reason and law -

Truths undenied by any man -

An empire of the West arose,

And Rome unified the world.

What more was needed?

Why was the whole world again in blood?

The soul of the universe craved

The spirit of faith and love!

And the prophetic word was not false,

And a light from the East shone,

Heralding and promising

What had been impossible.

And, spilling wide,

Full of portent and strength,

That light from the East

Made peace between East and West.

O Russia! In lofty premonition

You ponder a proud idea;

Which East do you want to be:

The East of Xerxes or of Christ?

The poem’s last stanza brings to mind *Lik i lichiny Rossii* (“Russia’s Face and Masks,” 1917), Vyacheslav Ivanov’s essay on Dostoevski (btw., in Bunin’s poem *Aya-Sofia* the sheikh’s raised *lik* is mentioned). Velimir Khlebnikov’s poem *Zverinets* (“Menagerie,” 1909) is dedicated to Vyacheslav Ivanov and was used by Shklovsky as the epigraph to his book *Zoo, ili pis’ma ne o lyubvi* (*Zoo, or Letters Not About Love*, 1923). A son of the celebrated ornithologist, Khlebnikov repeats in *Zverinets* the word *orly* (pl. of *oryol*, “eagle”) three times. On the other hand, *orly* (eagles) are famously mentioned in Chekhov’s play *Chayka* (“The Seagull,” 1896):

Нина. Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом,— словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли...

Nina. All men and beasts, lions, eagles, and quails, horned stags, geese, spiders, silent fish that inhabit the waves, starfish from the sea, and creatures invisible to the eye — in one word, life — all, all life, completing the dreary round imposed upon it, has died out at last. (Act One)

One of the two main characters in Chekhov’s story *Duel’* (“The Duel,” 1891) is the zoologist von Koren, a disciple of Darwin who plans to lead a scientific expedition into the far eastern regions of Russia. Martin’s and Sonia’s *Zoorland* (used by Bubnov in one of his stories) seems to blend Shklovsky’s (and von Koren’s) *Zoo* with Khlebnikov’s (and Chekhov’s) *orly* and has “land” for tail.

Like all people, Martin’s uncle Henry Edelweiss (who marries Martin’s mother Sofia Dmitrievna) has his own *zverinets* (menagerie):

Ещё одна последняя излучина, и вот – берег. Берег, к которому Мартын пристал, был очень хорош, ярок, разнообразен. Он знал, однако, что, например, дядя Генрих твердо уверен, что эти три года плавания по кембриджским водам пропали даром, оттого что Мартын побаловался филологической прогулкой, не Бог весть какой дальней, вместо того чтобы изучить плодоносную профессию. Мартын же, по совести, не понимал, чем знаток русской словесности хуже инженера путей сообщения или купца. Оказалось, что в зверинце у дяди Генриха, – а зверинец есть у каждого, – имелся, между прочим, и тот зверек, который по-французски зовется "черным", и этим черным зверьком был для дяди Генриха двадцатый век. Мартына это удивило, ибо ему казалось, что лучшего времени, чем то, в которое он живет, прямо себе не представишь. Такого блеска, такой отваги, таких замыслов не было ни у одной эпохи. Все то, что искрилось в прежних веках, – страсть к исследованию неведомых земель, дерзкие опыты, подвиги любознательных людей, которые слепли или разлетались на мелкие части, героические заговоры, борьба одного против многих, – все это проявлялось теперь с небывалой силой. То, что человек, проигравший на бирже миллион, хладнокровно кончал с собой, столь же поражало воображение Мартына, как, скажем, вольная смерть полководца, павшего грудью на меч. Автомобильная реклама, ярко алеющая в диком и живописном ущелье, на совершенно недоступном месте альпийской скалы, восхищала его до слез. Услужливость, ласковость очень сложных и очень простых машин, как, например, трактор или линотип, приводили его к мысли, что добро в человечестве так заразительно, что передается металлу. Когда над городом, изумительно высоко в голубом небе, аэроплан величиной с комарика выпускал нежные, молочно-белые буквы во сто крат больше него самого, повторяя в божественных размерах росчерк фирмы, Мартын проникался ощущением чуда. А дядя Генрих, подкармливая своего черного зверька, с ужасом и отвращением говорил о закате Европы, о послевоенной усталости, о нашем слишком трезвом, слишком практическом веке, о нашествии мертвых машин; в его представлении была какая-то дьявольская связь между фокстротом, небоскребами, дамскими модами и коктэйлями. Кроме того, дяде Генриху казалось, что он живет в эпоху страшной спешки, и было особенно смешно, когда он об этой спешке беседовал в летний день, на краю горной дороги, с аббатом, – меж тем как тихо плыли облака, и старая, розовая аббатова лошадь, со звоном отряхиваясь от мух, моргая белыми ресницами, опускала голову полным невыразимой прелести движением и сочно похрустывала придорожной травой, вздрагивая кожей и переставляя изредка копыто, и если разговор о безумной спешке наших дней, о власти доллара, об аргентинцах, соблазнивших всех девушек в Швейцарии, слишком затягивался, а наиболее нежные стебли уже оказывались в данном месте съеденными, она слегка подвигалась вперед, причем со скрипом поворачивались высокие колеса таратайки, и Мартын не мог оторвать взгляд от добрых седых лошадиных губ, от травинок, застрявших в удилах. "Вот, например, этот юноша, – говорил дядя Генрих, указывая палкой на Мартына, – вот он кончил университет, один из самых дорогих в мире университетов, а спросите его, чему он научился, на что он способен. Я совершенно не знаю, что он будет дальше делать. В мое время молодые люди становились врачами, офицерами, нотариусами, а вот он, вероятно, мечтает быть летчиком или платным танцором". Мартыну было невдомек, чего именно он служил примером, но аббат, по-видимому, понимал парадоксы дяди Генриха и сочувственно улыбался. Иногда Мартына так раздражали подобные разговоры, что он был готов сказать дяде – и, увы, отчиму – грубость, но вовремя останавливался, заметив особое выражение, которое появлялось на лице у Софьи Дмитриевны всякий раз, как Генрих впадал в красноречие. Тут была и едва проступавшая ласковая насмешка, и какая-то грусть, и бессловесная просьба простить чудаку, – и еще что-то неизъяснимое, очень мудрое. И Мартын молчал, втайне отвечая дяде Генриху примерно так: "Неправда, что я в Кембридже занимался пустяками. Неправда, что я ничему не научился. Колумб, прежде чем взяться через западное плечо за восточное ухо, отправился инкогнито для получения кое-каких справок в Исландию, зная, что тамошние моряки – народ дошлый и дальноходный. Я тоже собираюсь исследовать далёкую землю".

One last bend, and there was the shore. The shore on which Martin landed was very fair, very bright, and full of variety. He knew, though, that for example Uncle Henry remained firmly convinced that these three years of aquatics in Cambridge had gone to waste, because Martin had indulged in a philological cruise, and not even a very distant one, instead of learning a useful profession. But Martin in all honesty did not understand why it was worse to be an expert in Russian letters than a transportation engineer or a merchant. Actually, Uncle Henry’s menagerie—and everybody has one—housed, among other creatures, a little black beast, and that *bête noire* was to him the twentieth century. Now this amazed Martin, since in his opinion one could not even imagine a better century than the one in which he lived. No other epoch had had such brilliance, such daring, such projects. Everything that had glimmered in previous ages—the passion for exploration of unknown lands, the audacious experiments, the glorious exploits of disinterested curiosity, the scientists who went blind or were blown to bits, the heroic conspiracies, the struggle of one against many—now emerged with unprecedented force. The cool suicide of a man after his having lost millions on the stock market struck Martin’s imagination as much as, for instance, the death of a Roman general falling on his sword. An automobile advertisement, brightly beckoning in a wild, picturesque gorge from an absolutely inaccessible spot on an alpine cliff thrilled him to tears. The complaisant and affectionate nature of very complicated and very simple machines, like the tractor or the linotype, for example, induced him to reflect that the good in mankind was so contagious that it infected metal. When, at an amazing height in the blue sky above the city, a mosquito-sized airplane emitted fluffy, milk-white letters a hundred times as big as it, repeating in divine dimensions the flourish of a firm’s name, Martin was filled with a sense of marvel and awe. But Uncle Henry, as if throwing tidbits to his black beastie, spoke with horror and revulsion about the twilight of Europe, about postwar fatigue, about our practical age, about the invasion of inanimate machines; in his imagination there existed some diabolical connection between the fox-trot and skyscrapers on one side and women’s fashions and cocktails on the other. Furthermore, Uncle Henry had the impression he lived in an age of terrible haste, and it was particularly funny when he chatted about this haste, on a summer day, at the edge of a mountain road, with the local priest, while the clouds sailed serenely and the abbé’s old, pink horse, shaking off flies with a tinkle, blinking its white eyelashes, would lower its head in a movement full of ineffable charm and munch succulently on the roadside grass, with its skin twitching or a hoof shifting now and then, and, if the talk about the mad haste of our days, about the almighty dollar, about the Argentines who seduced all the girls of Switzerland, dragged on too long, and the last tender stalk among coarser ones had been eaten at a given spot, it would move ahead a little, accompanied by the creak of the gig’s high wheels. And Martin could not take his eyes off the gentle equine lips and the blades of grass caught in the bit.

“Here, this young man, for example,” Uncle Henry would say, indicating Martin with his walking stick, “he has finished college, one of the most expensive colleges in the world, and you ask him what he has learned, what he is prepared for. I absolutely don’t know what he is going to do next. In my time young men became doctors, soldiers, notaries, while he is probably dreaming of being an aviator or a gigolo.”

Martin had no idea what exactly he served as an example of, but the abbé apparently understood Uncle Henry’s paradoxes and smiled commiseratingly. Sometimes Martin was so irritated by talk of this kind that he was ready to say something rude to his uncle—who was also, alas, his stepfather—but would stop in time, for he had noticed the look that appeared on his mother’s face whenever Henry waxed eloquent at dinner. That look contained a faint trace of friendly raillery, and a certain sadness, and a mute appeal to forgive the crank, and yet something else inexpressible but very wise. Martin would keep still, mentally answering Uncle Henry like this, for example: “It’s not true that I devoted my time to trifles at Cambridge. It’s not true that I did not learn anything. Columbus, before trying to take hold of his east ear across his west shoulder, traveled to Iceland incognito to gather certain information, knowing that the sailors there were a canny and far-ranging breed. I, too, plan to explore a distant land.” (chapter 29)

A distant land that Martin (who helps Bubnov in his work on a novel about Columbus) plans to explore is Zoorland. In his poem *Vozmezdie* (“Retribution,” 1910-21) Blok famously mentions *dvadtsatyi vek* (the twentieth century, Uncle Henry’s *bête noire*):

Двадцатый век… Ещё бездомней,
Ещё страшнее жизни мгла
(Ещё чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).

The twentieth century… Even more homeless,

even more terrible is life’s gloom

(even blacker and huger

is the shade of Lucifer’s wing). (chapter I)

At the beginning of “Russia’s Face and Masks” Vyacheslav Ivanov mentions Lucifer and Lucifer’s other name, *Dennitsa* (the Morning Star):

Люцифер (Денница) и Ариман, — дух возмущения и дух растления, — вот два богоборствующие в мире начала, разноприродные, по мнению одних, — хотя и связанные между собою таинственными соотношениями, — или же, как настаивают другие — два разных лица единой силы, действующей в «сынах противления», — ей же и имя одно: Сатана. Но так как истинная ипостасность есть свойство бытия истинного, зло же не есть истинно сущее бытие, то эти два лица, в противоположность божественным ипостасям, нераздельным и неслиянным, являют себя в разделении и взаимоотрицании, глядят в разные стороны и противоречат одно другому, а самобытно определиться порознь не могут и принуждены искать своей сущности и с ужасом находить её каждое в своём противоположном, повторяя в себе бездну другого, как два наведённых одно на другое пустых зеркала.

*Dennitsa* also means “daybreak, dawn.” In his memoir essay “Bryusov” (1925) Khodasevich mentions Blok’s poem *Zhdu ya smerti bliz dennitsy* (“I expect death near daybreak…” 1904) that was read at Bryusov’s soirée by Sergey Solovyov (the philosopher’s nephew):

В столовой, за чаем, Белый читал (точнее будет сказать - пел) свои стихи, впоследствии в изменённой редакции вошедшие в "Пепел": "За  мною грохочущий город", "Арестанты", "Попрошайка". Было что-то необыкновенно обаятельное в его тогдашней манере чтения и во всем его облике. После Белого С. М. Соловьёв прочитал полученное от Блока стихотворение "Жду я смерти близ денницы". Брюсов строго осудил последнюю строчку.

Bryusov is the author of *Kolumb* (“Columbus,” 1894) and *Pesn’ normannov v Sitsilii* (“A Song of the Norman Mariners in Sicily,” 1914), a poem in which each stanza ends in the line *no ty surovyi sever pomni* (“but you remember the severe north”). According to Martin, a Norman mariner mentions Zoorland.

In Chapter One of Blok’s “Retribution” *bol’noy i grustnyi Dostoevskiy* (sick and sad Dostoevski) appears as a character:

На вечерах у Анны Вревской
Был общества отборный цвет.
Больной и грустный Достоевский
Ходил сюда на склоне лет
Суровой жизни скрасить бремя,
Набраться сведений и сил
Для «Дневника». (Он в это время
С Победоносцевым дружил).

In Russian *vek* means “century” and “age.” *Podvig*’s title in the draft, *Romanticheskiy vek* (“The Romantic Age”), brings to mind Gumilyov’s collection *Romanticheskie tsvety* (“The Romantic Flowers,” 1908). The two poets who could not stand each other, Blok and Gumilyov (a Russian explorer of Africa) died almost simultaneously in August, 1921 (Gumilyov was executed by the Bolsheviks less than three weeks after Blok’s death). In his poem *Oryol* (“The Eagle,” 1909) Gumilyov mentions *okovy korolevskogo zverintsa* (“the chains of the royal menagerie”) and in his poem *Slonyonok* (“A Baby Elephant,” 1920), *khozyain zverintsa* (the menagerie owner).

Alexey Sklyarenko